

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВБАКУМА...”

3. “Несчастное дитя казармы и тюрьмы”

Свои странствия по Северу Александр Добролюбов начал весной 1898 года, расставшись с университетом, уже будучи автором книги стихов “*Natura naturans. Natura naturata*” (“Природа порождающая. Природа порождённая”). Отдельные вехи его биографии буквально смыкаются с клюевскими. С конца 1898-го до весны 1899 года он пребывает в Соловецком монастыре, готовится принять послушание, носит вериги, но, как и Клюев, уходит из монастыря. Перебирается в Поволжье, где основывает собственную секту. Дважды подвергается аресту, причём второй арест был связан с обвинениями в иконоборчестве, как писал в своём дневнике Валерий Брюсов, “оскорблении святыни и величества”. Подобно клюевскому “наставнику”, снявшему со своего “ученика” крест, отрекался от православия, о чём писал Льву Толстому – “слово вера разбилось для меня”. Современники вспоминали, что на вопросы о Христе Добролюбов отвечал им: “О ком ты говоришь? Если о сыне Мариам, то я о нём ничего не знаю”...

Брюсов вспоминал, что в 1890-е годы, ещё до своего ухода, Добролюбов “был пропитан самим духом декадентства”. Считал искусство единственной самодовлеющей ценностью, курил гашиш, проповедовал красоту смерти, писал поэму о каннибализме... Истерический декаданс сменился не менее истерическим “покаянием”, во всяком случае, спорадический отказ от творчества, которое было ранее единственным, что заслуживало внимания и преклонения, свидетельствует не просто о переломе в мировоззрении, но и о серьёзных колебаниях психики.

Он прошёл и тюремное заключение, и сумасшедший дом. Основал в Поволжье секту добролюбовцев – своих последователей и учеников. Изредка появляясь в Москве, он поражал своим видом прежних друзей. Тот же Брюсов записал в дневнике впечатление от очередной встречи: “Он был в крестьянском платье, сермяге, красной рубахе, в больших сапогах... Теперь он стал прост, теперь он умел говорить со всеми... И все невольно радостно улыбались на его слова. Даже животные шли к нему доверчиво, ласкались” (как тут не вспомнить рассказ Клюева о Соловках!). Свой собственный духовный переворот он мыслил не иначе как предшествование грядущего духовного преобразования всей России.

Переворот был на самом деле глубоким и всесторонним, полностью преобразившим личность бывшего декадента. Он странствует по Уралу, Сибири, Пермской, Рязанской, Оренбургской губерниям, где создаёт общины своих

последователей – “добролюбовцев”, чьим жизненным принципом становится принцип “невидимого делания”, в основе которого лежит исключительно ручной труд. Нетрудно предположить, что на своём странническом пути он встречался и с “молчальниками”, от которых многое усвоил – во всяком случае, иные современники вспоминали, как Добролюбов прерывал разговор и, произнеся: “Помолчим, брат!”, – углублялся в безмолвие. (В “Гагарьей судьбине”, в рассказе о скитаниях Ключева по Кавказу после бегства от скопцов есть упоминание и о секте молчальников: “. . . По рассказам старцев, виделся с разными тайными людьми; одни из них живут в горах, по году и больше не бывают к миру, питаются от трудов рук своих. Ясны они и мало говорливы, больше кланяются, а весь разговор: “Помолчим, брат!” И молчать так сладко с ними, как будто ты век жил и жить будешь вечно”.)

“Человеку нужно только очиститься, и тогда для него будут возможны и откровение, и непосредственное общение с духовным, невидимым миром, и чудеса. . . Только телом и разумом занимаетесь все вы, а духа не знаете. Даже своего духа не знаете вы, а Дух Божий сокровенен от вас”. Это не просто строки “Из книги невидимой”, вышедшей в 1905 году стараниями сестры и жены Валерия Брюсова. Это своего рода *правило жизни* Добролюбова, которое он внушал каждому, согласному его слушать. Послушав его, записал в своём дневнике Лев Толстой: “Нельзя проповедовать учение, живя противно этому учению, как живу я. Единственное доказательство того, что учение это даёт благо, это – то, чтобы жить по нём, как живёт Добролюбов”. Эта запись относится к 1907 году, а четырьмя годами ранее Александр Блок написал свой стихотворный портрет того, о ком позже заговорили: “. . . Среди современных религиозных творцов личность Александра Добролюбова – единственная живая, яркая, необычная личность, и в ней загадка России, и в ней – её святая”. Стихотворение так и называлось: “А. М. Добролюбов”.

*Голос и дерзок и тонок,
Замысел — детски-высок.
Слабый и хилый ребёнок
В ручке несёт стебелёк.
Стебель вселенского дела
Гладит и кличет: “Молись!”
Вкруг исхудалого тела
Стебли цветов завились...
Вот поднимаются выше —
Скоро уйдут в небосвод...
Голос всё тише, всё тише...
Скоро заплачет — поймёт.*

Травы и стебли обвивают и поглощают того, кто пришёл к ним “из городского тумана”, подобно тому, как по велению богов в деревья и цветы превращались смертные в древнегреческих мифах. . . Стихи самого Добролюбова – больше пантеистические гимны, предназначенные для пения от души благословенному миру, чем нечто собственно литературное, обречённое на книжную страницу. Таково его “Примирение с землёй и зверями”.

*Мир и мир горам, мир и мир лесам,
Всякой твари мир объявляю я.
И идут уже зайцы робкие,
Песня им любя, вразумительна.
Загорелись огнём все былиночки,
Струи чистые в родниках поднимаются,
За рекой песня чистая разглашается:
То горят в лучах камни дикие
И поют свою песню древнюю,
Ту ли думушку вековечную,
Испокон веков необъявленную.
Песню братскую принимаю я...
Вот у ног моих козы горные,
Лижут руки мои лоси глупые...
Ай вы, звери мои, вы свободные!*

*Путь у каждого неизведанный,
Вы идите своим ли одним путём.
Только мирную человеческую речь принимайте!*

И далее следует увещание медведям, змеям, волкам не трогать живого вокруг и былиночку “не обидеть”, дабы весь тварный и человеческий мир начал “работу совместную и вселенскую... животворную...” Отзвук добролюбовской нежности ко всему живому отзовется потом в клюевских “Скрытном стихе” и “Мирской думе”... А мотив приятия мира во всей первозданности узником, взирающим на белый свет через тюремное окошко (“Вы деньки ли мои — деньки тихие, неприметные, Вы деньки мои — братцы милые, други верные, Каждый день ровно голуби над тюремным окошком моим подымаетесь, волю Божию исполняете...”), целиком перенесётся в стихи, написанные Клюевым уже совсем в другую эпоху, когда мир Божий был охвачен войной, и эсхатологической настрой невозможно было заглушить в душе и произнесённом слове.

*Вы, деньки мои — голуби белые,
А часы — запоздалые зяблики,
Вы почто отлетать собираетесь,
Оставляете сад мой пустынею?*

*Аль осыпалось красное вишеньё,
Виноградье моё приувянуло,
Али дубы матёрые, вечные
Буреломом, как зверем, обглоданы,*

*Аль иссякла криница сердечная,
Али веры ограда разрушилась,
Али сам я — садовник испытанный,
Не возмог прикормить вас молитвою?*

*Проворкуйте, всевышние голуби,
И прожубруйте, дольные зяблики,
Что без вас с моим вишеньем станется:
Воронью оно в пищу достанется...*

Словно незримая нить соединяет это печальное песнопение с последним стихотворным посвящением Николая Клюева Александру Добролюбову, написанным ещё через несколько лет, во время тяжкого вытегорского голода и гражданской бойни — между 1919-м и 1921 годами.

*Пули в солнце, в росинке и в цветике маковом,
У пеструшки ячико с кровавым белком,
И любимую полку с Минеей, Аксаковым
Посребрило, как луг, паутинным снежком.*

*Сиротеет церквушка... Микола с Егорием
Обернулись тучкой — слезинкой небес,
Над израненной нивой, родимым Поморием
Пулемётом стрекочет и каркает бес.*

.....
*На лежанке две тени — зловецкие саваны
Делят кус мертвечины не в час и не впрок.
Пулемётного беса не выкурят ладаны —
Обронила Россия моленный платок.*

.....
*Александр Добролюбов — берёзынька белая
Плачет травной росой, лесным родником:
Ты катися, слеза, роковая, горелая,
Побратайся с былинкой, с ночным светляком!*

*Схоронись в буреломе с дремучим валежником,
Обернись алмазом, подземной струей,
Чтоб на братской могиле прозябнуть подснежником,
Сочетая поэзию с тайной живой.*

Где в это время находился сам Добролюбов – едва ли представится возможным когда-либо установить. За четыре десятилетия он, проповедуя своё учение, исходил Среднюю Россию, Крайний Север, Зауралье, Среднюю Азию, Кавказ... Не исключено, что в начале 20-х годов слух о нём, возможно, снова появившемся в Олонии, дошёл до Клюева... Впрочем, это лишь предположения. Достоверно известно, что, будучи долгое время “апостолом и пророком” среди своих последователей, самолично устанавливающим и меняющим обряды, он в конце концов отверг всякую религию, отринув “высшее существо свыше личности человека”. В начале 1930-х годов он поселился в Азербайджане, к середине десятилетия относятся его безуспешные попытки вернуться в литературу и единичные приезды в Москву и Ленинград, о которых Клюев уже ничего знать не мог. Скончался Добролюбов в доме старой украинки на станции Уджары весной 1945 года.

Ещё одна родная сестра Александра – Елена – стала для Клюева такой же духовной сестрой, как и погибшая Мария. Ей обращено стихотворение, истинную дату которого трудно установить, как, впрочем, и практически все даты недатированных клюевских стихотворений, опубликованных много позже их написания. А это – с характерным названием “Предчувствие” – относят к 1909-му. Но, судя по стилю, оно создавалось годом-двумя раньше, немалого после самоубийства Марии.

*Пусть победней и сумрачней своды,
Глуше стоны замученных жертв,
Кто провидит грядущие годы,
Тот за дверью могилы не мертв!
Не тебе ль эту песню, голубка,
Я в былом недалёком певал:
Бился парус... Стремительно шлюпка
Рассекала бушующий вал.
И так много кипело отваги
В необъятной, как море, груди.
Мы с тобою, как вещи маги,
Прозревали миры впереди.*

Сама героиня этого стихотворения, тематически и стилистически сращивающегося с “вольнлюбивой” лирикой 1905 года, – лишь “с того берега”, что за гранью пути земного, доносит “предсмертный, рыдающий стон” до слуха поэта... Видимо, позднее, году в 1908-м, было написано другое, более совершенное стихотворение – “Сказка”, – также посвящённое Елене и опубликованное уже без заглавия и без посвящения... Здесь духовная сестра уже является в вещем сне той, что отдалённо напоминает и клюевскую мать, вечно строгую в своей сдержанной печали, и её единовеок, и тех “сестёр”, что встречал “брат Николай” в своих странствиях и исканиях.

*Зимы предчувствием объаты,
Рыдают сосны на бору;
Опять глухие казематы
Тебе приснятся ввечеру.*

*Лишь станут сумерки синее,
Туман окутает реку, —
Отец, с верёвкой на шее,
Придёт и сядет к камельку.*

*Жених с простреленною грудью,
Сестра, погибшая в бою, —
Все по вечернему безлюдью
Сойдутся в хижину твою.*

*А Смерть останется за дверью,
Как ночь, загадочно темна.
И до рассвета суеверью
Ты будешь слепо предана.*

*И не поверишь яви зрячей,
Когда торжественно в ночи
Тебе — за боль, за подвиг плача —
Вручатся вечности ключи.*

Пройдёт время — и Клюев сам будет на грани сна и яви встречать дорогих покойников и убаживать их, уже не вспоминая по отошедшем видении ни о каком “суеверии”, но воспринимая происходящее как воплощении вечности, дарованной Божьим Промыслом.

Елена Добролюбова после Октября покинула Россию и умерла на чужбине. Клюев об этом знать уже не мог.

А тогда, осенью 1907 года, он пишет ей письмо, где упоминает ещё одного ближайшего себе человека того грозного времени.

“Решился опять написать Вам — от Леонида Дмитриевича не получаю ничего, он велел мне писать В. С. Миролюбову, Тверская, 12, я посылал ему два заказных письма, но ответа не получал. Смее просить Вас — передать присланные стихи Миролюбову — или Л. Д.

Простите, пожалуйста, что я Вам пишу, но, поверьте, иначе не могу, не могу прямо-таки терпеть безответности. Очень тяжело не делиться с Леонидом Дмитр/иевичем/ написанным. Если бы Вы знали мои чувства к нему — каждое его слово меня окрыляет — мне становится легче. 23 октября меня вновь зовут в солдаты — и мне страшно потерять из виду Леонида Дмитриевича — он моё утешенье.

9 месяцев прошло со дня моего свидания с Л. Д., тяжелы они были — долгие, долгие... И только, как свет небесный, изредка приходили его письма — скажите ему об этом.

Прошу Вас — напишите до 23 октября, — а потом, поди знай, — куда моя голова — покатится”.

Леонид Дмитриевич Семёнов, внук знаменитого путешественника, получившего в 1906 году для себя и всего своего потомства фамилию “Семёнов-Тянь-Шаньский”, был из тех русских мальчиков начала XX века, что в своих исканиях готовы с горящими сердцами идти, что называется, “до упора”, не взирая не то что на какие бы то ни было препятствия, а на течение самой жизни. Под впечатлением сиюминутного потрясения они готовы “сжигать всё, чему поклонялись, и поклониться всему, что сжигали” и с тем же горячим упорством идти до конца в новом направлении...

Мария Добролюбова была страстной любовью Леонида и считалась его невестой. Сам же Семёнов, студент историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, начинал как поэт-младосимволист с подражаний Сологубу, Бальмонту, Брюсову и, в особенности, Блоку, а в общественной жизни — как ярый монархист-“белоподкладочник”. После расстрела 9 января 1905 года он бросил университет и вступил в РСДРП. Александру Блоку он писал в это время письма, полные признаний в своем новом “усовершенствовании”: “Набросился на Маркса, Энгельса, Каутского. Открытия для меня поразительные! Читаю Герцена, Успенского. Всё новые имена для меня!” А прочтя впервые “Что делать?” Чернышевского, поделился впечатлением: “Поразительная вещь, мало понятая, неоценённая, единственная в своём роде, переживёт не только Тургенева, но, боюсь, и Достоевского. Сие смело сказано. Но по силе мысли и веры она является явлению Сократа в древности”.

Вот так. Ни больше, ни меньше.

Опростившись и “уйдя в народ”, он вёл революционную пропаганду среди крестьян Курской губернии, дважды был арестован, жестоко избит, а о гибели Марии узнал по выходе из тюрьмы. Пять раз был в Ясной Поляне у Толстого, которому привозил свои рассказы, и кроме тесного общения с Александром Добролюбовым поддерживал сношения с христианами, скопцами и бегунами. Одно время проживал в христовской общине в Данковском уезде Рязанской губернии, где вскоре доведётся побывать и Клюеву.

Отношение Леонида к официальной церкви вполне воплотилось в стихах, напечатанных в “Трудовом пути”.

*Снились нынче мне попы
Бородатые, седые,
Жирно-масляные, злые,
В смраде сдавленной толпы,
С волосами завитыми,
Все с крестами золотыми...
Совершали злое дело,
Убивали чьё-то тело,
Выпивали чью-то кровь.
Страсти грезилась и муки,
Воздымались к небу руки,
Пели скорбно про любовь,
Так униженно просяще,
Заунывно и слезяще,
Точно вправду убивали
Там Того, кого назвали
Сыном Божиим они...*

Естественно, Клюев не мог пройти мимо такого человека, не сойтись с ним, как и с Добролюбовым. Трудно сказать, когда именно произошло их знакомство, но, скорее всего, оно состоялось через уже знакомый нам Крестьянский союз, членом которого был Леонид Семёнов.

В начале 1907 года Клюев обнаруживается в Санкт-Петербурге, — пытается завязать серьёзные литературные связи в столице. О стихах, которые он показывал Леониду, у которого уже вышло “Собрание стихотворений” (единственный прижизненный сборник), появилась коротенькая информация в газете “Родная земля” в рубрике “Календарь писателя”:

“В литературных кругах говорят о девятнадцатилетнем поэте-самоучке крестьянине г. Клюеве; как ни странно, но стихи его написаны в декадентской форме”.

Собственно, из известных нам на сегодняшний день стихотворений Клюева этого времени в полном смысле слова “декадентскими” можно назвать лишь стихотворение “Вот и лето прошло, пуст заброшенный сад...” (и то, здесь, скорее, не “декаданс”, а нота мещанского романса) и написанные в духе раннего символизма “Немая любовь”, “Мы любим только то, чему названья нет...”, “Холодное, как смерть, равниной бездыханной...” Последнее стараниями Леонида Семёнова и было напечатано в “Трудовом пути”. Клюев, ещё только начинавший обретать собственно поэтический голос, был, естественно, на этих порах заражён символистской поэтикой, казалось, вполне предназначенной для того, чтобы незримое, неведомое преподнести читателю на блюдечке, сервированное по всем правилам “нового искусства”.

*Мы любим только то, чему названья нет,
Что, как полунамёк, загадочностью мучит:
Отлёт журавлей, в природе ряд примет
Того, что прозревать неведомое учит.*

*Немолчный жизни звон, как в лабиринте стен,
В пустыне наших душ бездомным эхом бродит;
А время, как корабль под плеск попутных пен,
Плывёт и берегов желанных не находит.*

И в этот ряд примет, знакомых по строкам Владимира Соловьёва, Николая Минского, Дмитрия Мережковского, Константина Бальмонта, вроде бы уже ставших общим местом для их последышей, — вторгаются приметы родного поэта Русского Севера, и сама мелодия стиха обретает затаённую тревогу, словно притаившуюся в олонецком сосновом бору.

*Избушка ветхая на высылке угрюмом
Тебя, изгнанницу святую, приютит,*

*И старый бор печально-строгим шумом
В глухую ночь невольно усыпит.*

*Но чуть рассвет затеплится над бором,
Прокрякает чирок в надводном тростнике, —
Болото мёртвое немереным простором
Тебе напомнит вновь о смерти и тоске.*

А 15 июня Клюев пишет Леониду Семёнову письмо, содержащее несколько просьб.

“Получил Ваше дорогое письмо, в котором Вы пишете, что одно моё стихотворение последнего присыла предложено “Русскому богатству”, а одно помещено в майской книжке “Трудового пути”. — За всё это я очень благодарю Вас... — Рассказ Ваш, про который Вы говорите — мне читать не приходилось. Читал только стихотворение “Проклятье”, но оно было вырезано из журнала и прислано мне в письме из Петрозаводска — по моей просьбе одним из моих товарищей. Стихотворение “Проклятье” мне очень нравится: таким, как я, до этого далеко. Больше мне ничего Вашего читать не приходилось... Хотелось бы мне просить Вас прислать мне хотя ту книжку “Трудового пути”, в которой моё стихотворение, а в случае помещения в “Русское богатство” — то и эту книжку. — Если и этого нельзя — то хоть что-либо из новых поэтов”.

“Новых поэтов” Клюев читает жадно и придирчиво, постигая их систему образов и символов, вслушиваясь в музыку стиха... Близкого он находит себе немного, а его уничтожение перед Семёновым, как перед поэтом, кажется несколько смешным даже на фоне тогдашних клюевских стихов, в отдельных строках которых уже ощущается мощь и твёрдость пера, Семёнову и не снившаяся.

Если Клюев держал в руках 7-й номер “Трудового пути” за 1907 год, он не мог, вчитываясь в “Строки из серии свобода” Семёнова, в его надрывный истеричный верлибр, переходящий в анапест и занимающий почти две с половиной журнальных страницы, даже встречая строки, которые не могли не быть близки Николаю (“Травы, травушки, мои братцы родимые! Я бы и рад погрузиться в их влагу, я бы и рад погрузиться в их сон, я бы рад в них забыться их жизнью, но для жизни иной я рождён!”), не мог не заметить рядом шестнадцатистрочного стихотворения Иннокентия Анненского “Милая”, одного из драгоценнейших созданий русской поэзии XX века... “Милая, милая, где ж ты была Ночью в такую метелицу?..” — “Горю и ночью дорога светла: К дедке ходила на мельницу”... .

В “Русском богатстве” стихи Клюева так и не появились. В письме упоминается, что Клюев послал Семёнову “8 писем — с 52 стихотворениями”. Ни письма, ни стихи эти до сих пор не разысканы. Упоминаемый рассказ “Проклятие” — сцены из жизни тюрьмы, описание тюремных нравов, живые и небесталанные портреты заключённых и стражников, подробное описание этапа и собственных переживаний во время оно.

“Я иду с этапом. Люди с сожалением, не то со страхом взирают на нас. Но всё путается во мне. Почему все? Почему я политический? Почему арестант? Почему не конокрад, идущий теперь со мной рядом? Какая разница в этом? Какая разница в том, что он переодевался жандармом и обокрал помещика, а я ездил по сёлам и учил крестьян своей правде? Кто произвёл эту разницу? Кто она, эта глухая, тёмная сила жизни?”

Скоро и Клюеву доведётся снова встретиться — не с этапом, а с тюрьмой. “Поди знай, — куда моя голова покатится...”, — писал он Елене Добролюбовой, предчувствуя недоброе. И в письме к Семёнову, спрашивая о том, какие стихи Николая тот отобрал для печати, уточнял строки стихотворения “Горниста смолк рожок... Угрюмые солдаты...”, автоматически приписывая их к другому стихотворению “Рота за ротой проходят полки...”, пронизанному тем же настроением. Настроением ужаса при одной мысли о необходимости идти на военную службу и брать в руки оружие. Всё — и материнское воспитание, и религиозные убеждения, и пример того же Александра Добролюбова, а самое главное — ненависть к существующему строю, к династии, которую защищал штык солдата, присягнувшего на верность, — всё вынуждало его к отказу от службы.

*Казарма дикая, подобная острогу,
Кровавою мечтой мне в душу залегла,
Ей молодость моя, как некоему богу,
Вечерней жертвою принесена была.
И часто в тишине полночи бездыханной
Мережится мне въявь военных плацев гладь,
Глухой раскат шагов и рокот барабанный —
Губительный сигнал идти и убивать.
Но рядом клик другой, могучее сторицей,
Рассеивая сны, доносится из тьмы:
“Сто раз себя убей, но не живи убийцей,
Несчастное дитя казармы и тюрьмы!”*

...Стихотворение “Казарма” проникнуто чувством религиозного самоотречения, а “вечерняя жертва” не может не напомнить о молитве в Гефсиманском саду и римских легионерах, пришедших по Его душу... Та же казарма в стихотворении “Горниста смолк рожок...” — уже “как сундук, волшебствами заклятый”, что “спит в бреду, но сон её опасен, как перед бурей тишь злоецащая реки”... И поэт чувствует, что настанет день: “взовьётся в небеса сигнальная ракета, к восстанью позовёт условный барабан...” Эти штыки, “отточенные для мести”, ещё скажут своё — в феврале, 10 лет спустя.

Призванный в ноябре 1907 года, он не желал ни брать в руки оружие, ни надевать военную форму. После жестокого глумления и избиений его отдали под военный суд, о чём Ключев вспоминал впоследствии не единожды.

“Когда пришёл черёд в солдаты идти, везли меня в Питер, почитай 400 вёрст/, от партии рекрутской особо, под строжайшим конвоем...”

В Сен-Михеле, городок такой есть в Финляндии, сдали меня в пехотную роту. Сам же про себя я порешил не быть солдатом, не учиться убийству, как Христос велел и как мама мне завещала. Стал я отказываться от пищи, не одевался и не раздевался сам, силой меня взводные одевали; не брал я и винтовки в руки. На брань же и побои под микитку, взглезь по мордасам, по поджилкам прикладом, молчал. Только ночью плакал на голых досках нар, так как постель у меня в наказание была отобрана. Сидел я в Сен-Михеле в военной тюрьме, в бывших шведских магазинах петровских времён. Люто вспоминать про эту мёрзлую каменную дыру, где вошь неусыпающая и дух гробный...

Бедный я человек! Никто меня не пожалеет...

Сидел я и в Выборгской крепости (в Финляндии). Крепость построена из дикого камня, столетиями её век мерить. Одиннадцать месяцев в этом гранитном колодце я лязгал кандалами на руках и ногах...”

Крик. И холод.

Беззвучный крик рвался из его груди, а холод, исходящий от тюремных стен, пронизывал до костей.

Первая тюрьма была, что называется, “за дело”. Да и сам он чувствовал себя в силах пострадать за “дело Христово”, “дело народное”. Теперь же не героем, а жертвой чувствовал он себя... Ужас разливался по всему телу, и совладать с ним не было никаких сил.

Поэтому не стоит теперь, спустя десятилетия, сетовать на фактологические и хронологические сбивы в ключевском повествовании. На тюремные стены пришлось от силы два месяца, но никак не одиннадцать. Впрочем, впечатление было таково, что и один месяц мог сойти за год.

А в “Гагарьей судьбине”, считающейся “мифологической”, об этом рассказано с большим соблюдением фактов и сроков, чем в коротеньком отрывочке, записанном Николаем Архиповым год спустя.

“Как русские дороги-тракты, как многопарусная белянная Волга, как бездонные тучи в бесследном осеннем небе — так знакомы мне тюрьма и сума, решётка в кирпичной стене, железные зубы, этапная матюжная гонка. Мною оплакана не одна чёрная копейка, не один калач за упокой, за спасение “несчастненькому, молоденькому”.

Помню офицерский дикий суд над собой за отказ от военной службы... Четыре с половиной года каторжных работ... Каменный сундук, куда меня заперли, заковав в кандалы, не заглушил во мне словесных хрустальных колокольчиков, далёких тяжковеющих труб. Шесть месяцев вздыхали небесные трубы, и стены тюрьмы наконец рухнули. Людьми в белых халатах, с золоты-

ми очками на глазах, с запахом смертной белены и йода (эти дурманы знакомы мне по сибирским степям) я был признан малоумным и отправлен этапом за отцовской порукой в домашнее загуберье”.

Лишь весной 1908 года Ключев достиг “домашнего загуберья”, выпущенный со справкой, подписанной полковником Туроверовым: “Николай Алексеевич Ключев призван 1907 года, белобилетник. Освобождён от военной службы вследствие тяжёлой болезни. 6 месяцев лежал в Николаевском военном госпитале на испытании”.

Единственным способом уклониться от военной службы и избежать тюремного заключения было медицинское освидетельствование с заключением о “малоумности”. И имея хотя бы отдалённое представление о Ключеве, легко прийти к мысли о симуляции. Однако едва ли здесь тот случай. Всё поведение Ключева могло навести солдат и офицеров, да и врачей на мысль о самом натуральном психическом нездоровье. Для самого же Николая и впрямь было легче сойти с ума, нежели поступить вопреки своим убеждениям.

И нервное расстройство от потрясения имело место быть, и физического здоровья от пребывания в казарме и тюрьме (“Несчастное дитя казармы и тюрьмы”!) только убавилось. Лишь родительский дом вернул душевное равновесие и вселил спокойствие духа... А за время ключевского пребывания в узилище и в больнице произошло много небезынтересных событий. Но о них речь впереди.

Остаётся досказать судьбу Леонида Семёнова.

Его упоминавшийся рассказ “Проклятие” вызвал сочувственный и объективный одновременно отзыв Александра Блока, упомянувшего сие произведение в статье “О реалистах”, опубликованной в “Золотом руне”. Блок писал, что “Проклятие” “потрясает и отличается во многом от сотни подобных описаний правительственных зверств, но отличается от них более в чисто описательной части. Что же сверху того — показательно ещё раз, что трудно “служить богу и мамоне”, хранить верность жизни и искусству”.

Через полтора года в “Вестнике Европы” появился его рассказ “Смертная казнь” с предисловием Льва Толстого, высоко оценившего эту вещь, как “замечательную и по чувству, и по силе художественного воображения”. Лирическая проза в альманахе “Шиповник”, опубликованная в 1909 году, стала последней прижизненной публикацией Леонида, после чего он, подобно Добролюбову, порвал с литературной средой. Писать прозу он продолжал, но уже не делал никаких попыток опубликовать её. После очередного отказа от военной службы он попал в психиатрическую больницу, а по выходе оттуда в 1914 году удалился в деревню, где жил в собственноручно выстроенном доме. Отношение его к религии кардинально переменялось, и он даже подумывал о монашеском постриге в Оптиной пустыни. В ночь с 13 на 14 декабря 1917 года во время очередной деревенской междоусобицы, которые не прекращались с февраля месяца, Семёнов был убит, а дом его — сожжён дотла.

Именно Леонид Семёнов, близко знакомый с Блоком, обратил внимание Ключева на блоковские стихи. И Ключев сразу же выделил их из всей “новой поэзии”. Брат, брат духовный... Так он почувствовал, так понял, так уверился — и особым символическим значением наполнилось для него название чистанной книги — “Нечаянная радость”.

Первое письмо Блоку он послал ещё до всех своих злоключений “казармы и тюрьмы” — в конце сентября 1907 года.

(Продолжение следует)